

оторваны от древней религиозной и этической традиции и что тем, кто не был знаком с учениями Исаяи, Иакова, Иисуса, Будды, Лао-цзы, не хватало чего-то крайне важного как раз тогда, когда у человека возникла необходимость заново открывать свои ценности. И вот они с удвоенным интересом принялись постигать этическую и религиозную мудрость прошлых веков. Следы этой тенденции можно обнаружить в статьях Дэвида Рисмена, например во «Фрейд, наука и религия» в *The American Scholar*, а также в текстах Хобарта Маурера. Четыре подряд выпуска *Partisan Review* за 1950 год были составлены из статей прозаиков, поэтов и философов на тему «Религия и интеллектуалы».

Конечно, можно только радоваться, что этот тренд не является продуктом лишь нашей нынешней тревожности (лучшие его образцы уж точно не определяются ею). Опасность же представляет то, что некоторые из интеллектуалов, лишь недавно пришедшие в эту область и, как следствие, менее разборчивые, оказываются более подвержены влиянию хоть ярких и лежащих на поверхности, но все же не очень надежных аспектов религиозной традиции. Если интерес, который интеллектуалы питают к религии, льет воду главным образом на мельницу авторитаризма и реакции, что ж, тогда мы совершенно заблудились.

Настоящая проблема состоит в том, чтобы понять, что является здоровым в области этики и религии, потому что тогда мы будем пожинать плоды в виде такого чувства безопасности, которое увеличивает, а не уменьшает ценность личности, ее ответственность и свободу. Давайте поступим так же, как и в предыдущих главах, и начнем с вопроса, как появляется и развивается в человеке здоровое осознание этического.

Адам и Прометей

Человек — этическое животное, однако обретение чувства этического дается нелегко. Он не прорастает в сторону этического суждения так же безусловно, как цветок прорастает навстречу солнцу. Само собой, чувство этического дается лишь ценой внутренних конфликтов и тревоги, как и в случае со свободой и другими проявлениями человеческого самосознания.

Один из таких конфликтов захватывающе изображен в мифе о первом человеке, библейском Адаме. Это древнее вавилонское сказание, переписанное и сохраненное в Ветхом Завете около 850 года до н. э., повествует о том, как в одно и то же время внезапно приходит понимание этического и появляется самосознание. Как и история Прометея, как и другие мифы, это сказание об Адаме несет грядущим поколениям вечную истину вовсе не потому, что фиксирует какое-то историческое событие, но поскольку изображает некий глубинный, внутренний опыт, присущий всему человечеству.

Как гласит история, Адам и Ева живут в райском саду, где «произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи». В этой благословенной земле им не ведомы ни тяжелый труд, ни нужда. И что важнее, им неведомы чувства тревоги и стыда: они «не замечают своей наготы». Им не нужно отвоевывать у земли пропитание, они не знают ни внутренних психологических конфликтов, ни духовных конфликтов с Богом.

Но Бог приказал Адаму не вкушать от древа познания добра и зла и от древа жизни, «чтобы ему не стать подобным Богу в знании добра и зла». Когда же Адам и Ева все-таки вкусили запретных плодов с первого дерева, «они прозрели», и первым свидетельством, что отныне им известно добро и зло, становится чувство тревоги и стыда. Они «узнали, что наги», и вот когда Господь совершал ежедневный полуденный променад по саду, как об этом говорит автор в своей очаровательной наивной манере, Адам и Ева спрятались от его взгляда среди деревьев.

Разгневанный непослушанием, Господь назначает наказание. Женщина была обречена на сексуальное влечение к своему мужу и на мучительные роды, а мужчина — на скорбные тяготы труда.

В поте лица твоего будешь есть хлеб,
Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят,
Ибо прах ты
И в прах возвратишься.

Эта поучительная история в действительности является примитивным, созданным древними жителями Месопотамии описанием того, что происходит с каждым человеком в период примерно между одним и тремя годами, а именно появления самосознания. До этого момента человек живет в райском саду, который является символом внутриутробного периода и раннего детства, пока ребенок всецело зависит от родительской заботы, пока его жизнь тепла и удобна. Сад означает состояние, доступное лишь младенцам, животным и ангелам, состояние, которому неизвестны этические конфликты и ответственность; это время невинности, когда человеку не ведомы «ни стыд, ни совесть». Такие райские картины, лишенные продуктивной деятельности, в разных формах появляются в литературе, и зачастую они выдают сильное романтическое стремление вернуться на ранние этапы, предшествующие появлению самосознания, или даже к тому изначальному состоянию, которое психологически близко к периоду невинности, а именно к внутриутробному существованию.

С утратой «невинности» и образованием зачатков этической чувствительности, как далее показывает миф, личность взваливает на себя тяжелую ношу самосознания, тревоги и угрызений совести. Человек начинает ощущать себя — хотя такое ощущение может прийти лишь позднее — созданным «из праха». Иными словами, он понимает, что ему рано или поздно уготована смерть, узнает о своей конечности.

Положительный момент состоит в том, что съеденные плоды и познание добра и зла символизируют психологическое и духовное рождение личности. Действительно, Гегель говорил об этом мифе «падения» человека как о «падении вверх». Древнееврейские писатели, поместившие этот миф в Книгу Бытия, вполне могли увидеть в нем повод для песни неземного ликования, ведь именно в тот день, а не в день сотворения Адама появился на свет человек. Но что удивляет, так это то, что все здесь изображается как противное Богу и его повелениям. Господь изображен гневающимся на то, что «вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно».

Должны ли мы верить тому, что такой Бог не желал, чтобы человек обладал знанием и чувством этического, тот самый Бог, про которого нам

говорят главой ранее в той же Книге Бытия, что он создал человека по своему образу и подобию, и что иное это может означать, если не подобие Богу в отношении свободы, творчества и способности совершать этический выбор? Следует ли нам считать, что Господь желал оставить человека в состоянии невинности, психологического и этического неведения?

Эти допущения столь слабо вяжутся с точностью психологических прозрений мифа, что мы вынуждены искать иные объяснения. Без сомнения, миф, в том неотчетливом виде, в каком он дошел до нас из второго или третьего тысячелетия до Рождества Христова, представляет собой примитивную точку зрения. Можно понять примитивных рассказчиков, которые не проводят различий между конструктивными формами самосознания и бунтарством, особенно учитывая тот факт, что и сегодня многие различают их с большим трудом. Кроме того, Бог этого мифа — Яхве, самое раннее и наиболее примитивное родовое божество евреев, известное своей ревнивостью и мстительностью. Именно против жестокости и неэтичности деяний Яхве восстали поздние еврейские пророки.

Мы прольем больше света на это странное противоречие в мифе об Адаме, если взглянем на параллельные греческие мифы о Зевсе и других богах Олимпа, возникшие в тот же архаический период. Наиболее близкий к сказанию об Адаме греческий миф — миф о Прометее, укравшем огонь у богов, чтобы подарить его людям за их теплоту и трудолюбие. Заметив однажды среди ночи проблеск огня на земле и поняв, что у смертных есть огонь, взбешенный Зевс схватил Прометея, отнес его на Кавказ и приковал цепью к горной вершине. Рожденная из недр божественного воображения пытка, уготованная Зевсом Прометею, состояла в том, что в течение дня его печень раздирал голодный гриф, в течение ночи она восстанавливалась, а на следующее утро вновь прилетал голодный гриф, и так без конца длилось мучение несчастного Прометея.

По мере исполнения наказания становится видно, что Зевс превзошел Яхве в жестокости. Потому что греческий бог, которого разьедала злоба за то, что отныне человек владеет огнем, упрятал в небольшую шкатулку всевозможные болезни, скорби и пороки в виде крошечных, похожих на светлячков существ и передал ее Меркурию, дабы тот снес ее на

землю, которая в то время походила на рай (совсем как райский сад) и на которой в безмятежности и счастье жили Пандора с Эпиметеем. Когда любопытная женщина открыла шкатулку, существа вырвались наружу и беды нескончаемым потоком обрушились на человечество. Эти демонические черты в обхождении с человечеством определенно портят лик божества.

Если история Адама — это миф о возникновении самосознания, то Прометей оказывается символом творческой находчивости, поиска новых жизненных путей, доступных человечеству. Действительно, имя Прометея означает «предусмотрительный», а как мы могли убедиться, умение заглянуть в будущее, планировать составляет один из аспектов самосознания. Прометеева пытка выражает внутренний конфликт, сопутствующий творческой деятельности, — она символизирует тревогу и вину, которым подвержен — свидетелями тому такие творцы, как Микеланджело, Томас Манн, Достоевский и многие другие, — всякий, кто осмелится открыть человечеству новые формы жизни. Но вновь, как и в мифе об Адаме, Зевс ревниво встречает тягу человека возвыситься и наказывает его со всей мстительностью. Так что мы оказываемся перед той же проблемой: что означает борьба богов против человеческого творчества?

Безусловно, в действиях Адама и Прометея проглядывает бунтарство. В этом ракурсе мифы как раз осмысленны и сами по себе. Ведь и грекам, и евреям было известно, куда может пойти человек в стремлении преодолеть положенные ему пределы, беря на себя непосильную задачу [*overreaching himself*] (как было с Давидом, забравшим жену Урии), или совершая грех гордыни (случай гордеца Агамемнона, завоевавшего Троию), или самонадеянно притязая на всемирную власть (как с современной фашистской идеологией), или упорствуя и считая свое ничтожное знание истиной в последней инстанции (как поступают догматики, неважно, религиозные или научные), потому что тут-то он и становится опасным. Сократ был прав: начало мудрости лежит в том, чтобы признать себя невеждой, и человек может творчески использовать данные ему силы и в чем-то выходить за положенные ему пределы, только если сперва скромно и искренне признается в этой ограниченности. Мифы убедительно предостерегают против ложного самомнения.

Но бунтарство, описанное в этих мифах, очевидным образом является в то же время положительным и конструктивным, и потому их нельзя попросту отбросить как картины присущей человеку гордыни и борьбы со своей смертностью. Они выражают психологическую истину, согласно которой «открывшиеся глаза» ребенка, обретение им самосознания неизбежно приводят к конфликтам с властью предрержащими, будь то боги или родители. Но почему же это потенциальное бунтарство, без которого ребенку никогда не достичь возможностей свободы, ответственности, этического выбора, а значит, и самые драгоценные свойства человеческой природы останутся неразвитыми, — почему это бунтарство должно навлечь проклятие?

Мы утверждаем, что в этих мифах заявляет о себе вековой конфликт между ошестившейся властью, представленной ревнивыми богами, и подъемом новой жизни, нового творения. Появление свежей жизненной силы всегда так или иначе распатывает существующие устои и убеждения, а потому вызывает чувство тревожности и угрозы как у власти, так и у самого растущего человека. И тот, кто становится вестником перемен, может оказаться в непримиримом конфликте с консервативной властью — в этом убедились Орест и Эдип. Тревога Адама и муки Прометея показывают нам, что и сам новатор испытывает страх движения вперед. В этих мифах описана не только храбрость человека, но и его приспособленческая сторона, которая предпочитает комфорт свободе, безопасность — росту. Тот факт, что в мифе об Адаме и Еве наказанием им были назначены сексуальное желание и труд, лишь подтверждает нашу мысль. Ведь разве не страстное желание вечно быть на иждивении подталкивает нас к тому, чтобы видеть в труде — этой возможности вспахать землю, добывая пищу силой собственных рук, — *наказание*? Разве не тревожная часть нашего «я» усматривает в сексуальном желании как таковом обременение и добровольно идет на кастрацию, которую и проделал над самим собой Ориген, лишь бы избежать конфликта, вырвав с корнем само желание? Тревога и вина, всегда сопутствующие человеку в добывании хлеба насущного, равно как и все проблемы, порождаемые сексуальным влечением и другими аспектами самосознания, без сомнения, являются болезненными. Временами они непременно влекут за собой серьезные конфликты и страдания. Но кто решится утверждать, что, за исключением крайних случаев

вроде психоза, тревога и угрызения совести составляют неоправданно высокую цену для столь захватывающих вещей, как самопознание и творчество, одним словом, слишком высокую цену за возможность быть человеком, а не только невинным ребенком?

Эти мифы обнаруживают авторитарную сторону, присущую, как нам представляется, всем религиозным традициям — греческой, иудейской, христианской, — из-за которой они ведут непримиримую войну против этических прозрений. Таков голос Яхве, ревнивого и мстительного Бога; таков голос царя, ревниво оберегающего свое положение и власть, бросающего своего сына на съедение волкам, как поступил отец Эдипа; таков вождь племени, который стремится сокрушить все молодое, юное, растущее; таковы любые догматические убеждения и косные обычаи, чинящие препятствия творчеству.

Безусловно, в любом обществе должны присутствовать обе тенденции — и генерирование новых идей, этических озарений, и поддержка институтов, призванных хранить ценности прошлого. Ни одно общество не способно прожить без живительных сил и без старых форм — изменчивость и стабильность, религия пророков, нападающих на существующие институты, и религия священников, охраняющих их.

Но проблема, которая, как мы увидели, касается нас сегодняшних, состоит в том, что повсеместно начинает преобладать тенденция к конформности. Настроенный на «радар» человек, отчаянно пытающийся неотступно следовать ожиданиям группы, очевидно, будет понимать нравственность как подстройку под групповые стандарты. В такие периоды этику начинают все чаще отождествлять с *послушанием*. «Хорошими» бывают лишь в той мере, в какой умеют подчиняться диктату общества или церкви. Некритический взгляд на миф об Адаме, конечно, дает удачный пример рационализации таких тенденций — ведь могут заметить, что Адама никто не изгнал бы из рая, если бы он был послушен. И для людей нашего печального времени такая перспектива гораздо привлекательнее, чем может показаться на первый взгляд, потому что государство, символически представленное раем, где нет места для забот, нужды, тревоги, конфликтов, нет потребности в личной ответственности, становится объектом набожного поклонения в эпоху тревожности.

Поэтому человек начинает высоко ценить, не всегда отдавая себе в этом отчет, *отсутствие* необходимости развиваться. Так, словно безоговорочное послушание — это наилучшее, что может быть; и словно чем ниже личная ответственность, тем лучше.

Но в самом деле, что же этического в послушании? Если цель лишь в том, чтобы добиться послушания, тогда можно и собаку выдрессировать до нужного уровня. Но и в этом случае собака была бы более «этична», чем ее хозяева люди, потому что собака не несет в себе вечную угрозу нервного срыва в виде какого-нибудь «эксцесса» бунтующего существа в ответ на подавление и отрицание его свободы. И на социологическом уровне: что такого «этического» есть в том, чтобы следовать принятым нормам? Человек, удовлетворяющий такому идеалу, как и любой другой, оказался бы в 1900 году подавленным сексуально; в 1925 году по моде того времени стал бы немножечко бунтарем; в 1945 году демонстрировал бы среднестатистическое поведение в соответствии с отчетами Кинси. Даже если стандарт стараются облагородить, называя его «культурой», или «моральным правилом», или «абсолютной религиозной доктриной», что этического добавляется к этой конформности? Очевидно, что такое поведение упускает самую суть человеческой этики — тонкое понимание уникальности отношений с другим человеком, а также умение строить эти отношения творчески, с большей или меньшей степенью свободы и личной ответственности.

Одну из самых замечательных иллюстраций конфликта между этической чуткостью и существующими институтами, а также того чувства тревоги, которое несет с собой свобода, создал Достоевский в своей легенде о великом инквизиторе. Наступил день, когда Христос вернулся на землю, и хотя он тихо и незаметно исцелял больных на улицах, его узнали все. Случилось это во времена испанской инквизиции, и старый кардинал, великий инквизитор, встретил Христа на улице и приказал заточить его в темницу.

В сумраке ночи инквизитор входит в клетку, чтобы объяснить молчащему Христу, почему тому не следовало возвращаться на землю. Все пятнадцать веков, истекших с его пришествия, церковь боролась за то, чтобы исправить главную ошибку Христа, давшего людям свободу, и те-

перь они не позволят Ему перечеркнуть все, что было сделано. Ошибка Христа, говорит инквизитор, состояла в том, что «вместо твердого древнего закона» он возложил на человека тяжкий груз со свободным сердцем решать самому, что есть добро, а что — зло, а «такое страшное бремя, как свобода выбора» — слишком непосильная ноша для людей. В уважении к человеку Христос зашел слишком далеко, говорит инквизитор, забыв, что на самом деле люди хотят, чтобы с ними обращались как с детьми, чтобы их вели за собой «власть» и «чудо». Надо было всего лишь дать им хлеба, как и советовал дьявол, искушая, «но Ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил Ты, если послушание куплено хлебами?.. Но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: “Лучше поработите нас, но накормите нас”... Или Ты забыл, что спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла?»

Немногие героические, сильные люди смогли последовать за Христом путем свободы, продолжает старый инквизитор, но чего жаждет большинство, так это слиться в неразличимую и гармоничную муравьиную массу.

«...Говорю Тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается». Церковь принимает этот дар: «Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей — все судя по их послушанию — и они будут нам покоряться с весельем и радостью... они поверят решению нашему с радостью, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного». Старый инквизитор с оттенком грусти задает риторический вопрос: «Зачем же Ты пришел нам мешать?» и, покидая темницу, объявляет Христу, что завтра тот будет сожжен.

Достоевский, конечно, не имеет в виду, что инквизитор говорит от лица всей религии, католической или протестантской. Скорее он хочет изобразить ту сторону религии, которая угрожает самой жизни, которая ищет «беспорный общий и согласный муравейник», тот ее элемент, который поработывает человека и подстрекает его отказаться, как Иса

за чечевичную похлебку, от наиболее ценного своего достояния — свободы и ответственности.

И поэтому человек, находящийся сегодня в поисках ценностей, на основе которых он мог бы придать целостность собственной жизни, должен столкнуться с фактом, что простого выхода ему не найти. Он не может просто «вернуться к религии», словно благополучно возвратиться в родительский дом, если вдруг ноша свободы и ответственности станет непомерной. Потому что между этикой и религией то же двойственное отношение, что и между родителями и их отпрысками. С одной стороны, на протяжении всей истории нравственных пророков порождала и вскармливала религиозная традиция — стоит только вспомнить Амоса, Исайю, Иисуса, святого Франциска, Лао-цзы, Сократа, Спинозу и бесчисленное множество других. Но с другой стороны, между этически чуткими людьми и религиозными институтами испокон веков существует кровавая вражда. Этические прозрения возникают из нападок на конформность существующих нравов. В Нагорной проповеди Иисус предваряет каждое новое этическое откровение рефреном «Вы слышали, что было сказано древним, но Я говорю вам...», и этот рефрен выдает морально чуткого человека: «И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут». Поэтому всегда лишь этические творцы, как Сократ, Кьеркегор, Спиноза, были заняты поиском нового «духа» этики, поскольку он противопоставлен формализованному «закону» традиции.

Всегда возникает напряжение, а иногда и вовсе идут настоящие боевые действия между этическими лидерами и существующими религиозными, социальными институтами, сам этический лидер зачастую нападает на церковь, а та в ответ клеймит его врагом. Спиноза, этот «опьяненный Богом философ», был отлучен от церкви; одна из книг Кьеркегора носит название «Нападки на христианский мир»; Иисус и Сократ были казнены за то, что представляли собой «угрозу» нравам и обществу. Удивительно, как часто святые какого-нибудь одного исторического периода оказываются по факту атеистами на предыдущем.

В наше время среди тех, кто нападает на существующие религиозные институты с позиции этического совершенствования, значатся Ницше,

который восстает против христианской морали, пропитанной обидой, и Фрейд с его критикой религии, которая замуровывает человека в инфантильной по своей природе зависимости. Невзирая на различия в теоретических взглядах, оба они выражают этическое беспокойство о благополучии и удовлетворенности человека. И хотя в некоторых кругах их учения считаются враждебными по отношению к религии (и отчасти это так), я уверен в том, что будущие поколения впитают прозрения Фрейда и Ницше, сделав их частью этико-религиозной традиции, а религия благодаря их вкладу лишь обогатится и станет еще действеннее.

Джон Стюарт Милль, например, заявляет, что его отец, Джеймс Милль¹, считал религию «врагом морали». Старший Милль получил образование в пресвитерианской духовной семинарии в Шотландии, но позднее отошел от церкви, потому что отказывался верить в такого Бога, который создал ад и при этом, согласно теории предопределения, точно знал, что некоторые люди неизбежно окажутся там, не имея возможности выбирать. Он считал, что религия «коренным образом подвергла порче моральные устои, сделав из них предписание исполнять волю такого существа, в адрес которого нескончаемым потоком льются льстивые речи, но которого с мрачной правдивостью она изображает исполненным бесконечной злобы». Милль добавляет еще один штрих к портрету этого типажа «неверующего», свойственного середине XIX века: «Наилучшие среди них... гораздо более религиозны в исконном и наилучшем смысле слова “религия”, чем те, кто нагло присваивают себе это звание, отталкивая других».

Николай Бердяев, русский православный теолог и философ, восстает против тех же садистских доктрин, на которые обрушивался и старший Милль, а также против того факта, что «христиане выражают набожность через поклоны, низкопоклонство и распростертые позы, то есть через жесты, которые являются символическим выражением раболепия и унижения». Как и остальные этические пророки до него, Бердяев замечает, что он стал бы «драться с Богом во имя Бога», и добавляет,

¹ Милль Джеймс (1773–1836) — английский философ, экономист, историк. Другил с классиком политэкономии Давидом Рикардо. (*Примеч. ред.*)

что «бунт невозможен иначе, как в согласии и во имя некой высшей ценности, опираясь на которую я осуждаю то, против чего восстаю; иными словами, во имя Бога»¹.

Все эти битвы между людьми, достигшими прозрения, и косной властью пронизывает сквозной лейтмотив, примером чему служат конфликты между Адамом и Яхве, Прометеем и Зевсом, Эдипом и его отцом, Орестом и матриархальным укладом или случаи с нравственными пророками нашего времени. Не тот ли это повторяющийся на разных уровнях психологический лейтмотив, что и в уже известном нам конфликте между детьми и родителями? *Или, точнее, не следует ли видеть в этом присущий любому человеку конфликт между потребностью бороться за расширение самосознания, зрелость, свободу и ответственность и свойственным ему желанием оставаться ребенком, цепляющимся за заботливых родителей или тех, кто их заменяет?*

Религия — источник силы или слабости?

В любой дискуссии о религии и личностной интеграции основной вопрос заключается не в том, ведет ли сама по себе религия к здоровью или неврозу, а в том, с какой именно религией мы имеем дело и как она используется. Фрейд заблуждался в том, что религия per se представляет собой невроз навязчивости. Некоторые религии таковы, а некоторые — нет. Любая сфера жизни может стать почвой для невроза навязчивости: философия может предстать бегством от действительности в гармоничный мир «систем», защитой против тревог и неурядиц повседневной жизни, либо же она может стать мужественной попыткой лучше понять действительность. Наука может быть сковывающей, догматичной верой, в которой спасаются от мучительных сомнений, либо же она может быть непредвзятым поиском новых истин. В силу того что вера в науку до сих пор находила больший отклик в интеллектуальных кругах нашего общества, а потому и реже подвергалась критике, возможно, что сегодня эта вера чаще, чем сама религия, способствует

¹ Бердяев Николай. Дух и реальность. Нью-Йорк, Charles Scribner's Sons, 1935. (Примеч. авт.)